

# Анкета

## Гуманитарная наука после 24 февраля

Часто считается, что наука не та область, где изменения могут происходить за одну ночь. Даже эпохальным открытиям и новшествам порой требуются десятилетия для того, чтобы оказать заметное влияние на исследования. Но гуманитарная наука настолько плотно укоренена в исторической действительности, что на ней едва ли могут не сказаться те политические, дипломатические и экономические изменения, которые последнее время переживают Россия, Украина и все сколько-нибудь связанные с ними страны. Уже несколько месяцев обрываются научные связи между Россией и странами Запада: отменяются международные проекты и конференции, издательства перестают давать права на публикацию переводов и т.д. И если верно, что природа не терпит пустоты, то со временем на смену исчезнувших связей придут новые. А поскольку гуманитарное знание отражает и выражает историческую среду, в которой существует, то вместе с институциональной структурой гуманитарных наук должно измениться и содержание того, что они изучают. Так, в западной академической среде уже идут разговоры о «деколонизации» славистики и других областей гуманитарного знания, касающегося России, Средней Азии и Восточной Европы: предполагается, что им предстоит не только рефлексировать собственные имперские или колониальные корни (что происходило и раньше, в том числе на страницах нашего журнала<sup>1</sup>), но и меняться в таких направлениях, которые в настоящий момент может быть трудно вообразить.

Прямо сейчас нелегко предсказать, каким именно изменениям в гуманитарном знании положило начало 24 февраля. Но в гуманитарных науках речь никогда не идет об одном только предсказании. Формирование повестки собственных дисциплин всегда входило в задачи гуманитариев. И если времена

---

1 См. специальные номера «Нового литературного обозрения»: «(Пост)имперское воображение и культурные практики» (2017. № 144); «Постсоветское как постколониальное. Специальный выпуск. Часть I» (2020. № 161); «Постсоветское как постколониальное. Специальный выпуск. Часть II» (2020. № 166).

исторической неопределенности затрудняют прогнозирование, то для переосмысления целей и ориентиров они подходят как нельзя лучше. В надежде стимулировать этот процесс мы сформулировали несколько вопросов, касающихся недавнего прошлого и ближайшего будущего гуманитарных дисциплин, и задали их нашим постоянным авторам и давним друзьям-гуманитариям.

**Наблюдаете ли Вы фундаментальные трансформации Вашей дисциплины за последние тридцать лет? Какие достижения и лакуны в исследовательских практиках можно констатировать в рамках Ваших научных интересов?**

**Сергей Зенкин** (*Свободный университет, РГГУ и НИУ ВШЭ, профессор*):

В мировой литературной науке главное изменение состоит в том, что она все больше взаимодействует с новой дисциплиной — *cultural studies* — и под ее влиянием постепенно изживает фиксацию на «великих» и «образцовых» авторах (от которой один шаг до культурного империализма). В России этот процесс задержался: после антикоммунистической революции начала 1990-х годов филологи и критики занялись не столько деконструкцией, сколько реконструкцией, реорганизацией литературного канона, заменой одной классики на другую (возвысить Серебряный век по сравнению с Золотым, на место Горького поставить Солженицына, на место Маяковского — Бродского...). Другая перемена, происшедшая по соседству с русской литературной наукой, — возникновение интеллектуальной истории, которая не существовала как таковая при советской власти; одним из ее предметов является история филологии, и здесь уже сделано кое-что интересное: я имею в виду, например, многочисленные работы о «русской теории» 1920-х годов.

**Сергей Ушакин** (*профессор кафедры антропологии и кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета*): Да, конечно, наблюдаю. Тридцать лет — это все-таки слишком большой срок, чтобы не увидеть изменений даже в самых консервативных и традиционалистских дисциплинах. В американской антропологии за эти годы концептуальные и этнографические ориентиры сменились довольно сильно. Установка на «насыщенное описание», введенная Клиффордом Гирцом, постепенно сошла на нет. Вместо дискурсивных кружев и риторических поисков скрытых смыслов и ассоциаций появились совсем другие исследования.

Интерес к телу (как уход от заикленности на дискурсивности и текстуальности) естественно спровоцировал попытки пересмотреть наше понимание материальности в целом. В итоге появились «новые материализмы», «теория вещей» и прочие «объектно-ориентированные онтологии». С другой стороны, то же самое недовольство засильем «текстуальности» и «семиотики» выразилось в стремлении присмотреться внимательнее к роли и месту аффекта в социальных отношениях. Собственно, «аффективный поворот», начавшийся лет двадцать назад, удачно совместил в себе интерес к телесности и материальности с осознанными попытками не сводить все лишь к знакам и символам.

Интерес к материальности и объектности любопытным образом пересекался с темами климатических изменений и экологии, которые стали все сильнее

звучать в антропологии. А критика антропоцентризма, естественная в данном контексте, привела к росту аналитического внимания к разнообразным нечеловеческим акторам — от камней и животных до электричества.

Иными словами, я не вижу недостатка методов и аналитических подходов в своей дисциплине. Насколько ситуация отличается в российской антропологии, мне судить сейчас сложно. Мне кажется, попытки делаются. Книги переводятся, но поскольку в России этой дисциплиной занимаются мало, то ее эффект довольно незначителен.

Если говорить о славистике, к которой я тоже принадлежу, то тут ситуация, на мой взгляд, иная. Это поле никогда не отличалось концептуальными амбициями. Ставка всегда делалась, так сказать, на сам факт. Принципиальное советское методологическое достижение — жанр научного комментария к текстам классиков — в общем продолжает оставаться одним из самых главных способов организации научного исследования и его презентации. В итоге пространства для выработки новых концепций и теорий нет.

В этом плане интересно сравнивать схожие исследовательские поля в России и за рубежом. Например, начиная с конца 1980-х годов исследования холокоста последовательно формировали интеллектуальную повестку дня в гуманитарных исследованиях, привлекая внимание сначала к теме памяти и ее подавления, затем — к статусу жертвы (*victimhood*), затем — к проблематике свидетельствования и свидетелей (*witnessing and witnesses*), к войнам памяти (*memory wars*) и, наконец, к теме выживания (*survival*). Каждый поворот сопровождался волной этнографических и теоретических споров, конференций и антологий.

Исследования насилия в западной славистике и в России идут совсем по иному пути — по пути все того же наращивания фактической базы — больше документов, больше писем, больше дневников, больше баз данных и т.д. Но сколько-нибудь значимого концептуального осмысления самого материала не происходит. Появились замечательные серии опубликованных документов — скажем, многотомная «Россия. XX век», — а вот оригинальных теорий насилия на основе этих материалов так сформулировано и не было. «Тоталитаризм» и «Большой террор», возникшие в годы холодной войны, продолжают служить универсальными концептуальными отмычками. Исследования диссидентства, мне кажется, тоже примерно в таком же интеллектуальном состоянии: базовая бинарность «подавление/сопротивление» оказывается и началом, и концом концептуальных амбиций уже много лет. Интеллектуальная пустота таких «вечных отмычек» сегодня особенно очевидна. Например, термины «фашизм» и «нацизм» подверглись полной и бесповоротной, как сейчас говорят, детерриториализации и используются по обе стороны баррикад, не имея никакой внятной дескриптивной основы.

Или еще один пример — исследования Второй мировой войны. Начиная с 1990-х годов появились действительно интересные работы, посвященные самым разным аспектам этого периода, но я не могу сходу назвать ни одной популярной концепции, которая возникла за последние тридцать лет, скажем, в исследованиях блокады, партизанского движения или коллаборационизма. Показательны в этом плане дискуссии о работах Светланы Алексиевич. Вопросы о *методах*, с помощью которых конституируется речь свидетелей в ее книге, вопросы об *этике* ее работы с чужими свидетельствами — то есть вопросы о том, как именно происходит актуализация материалов прошлого

в этом жанре парадокumentальной прозы, — практически не поднимаются. Споры в основном ведутся о политической позиции автора. Как говорил когда-то Виктор Шкловский: хватит писать о Толстом, давайте писать о «Воине и мире». Мне кажется, он был, как всегда, прав.

Если материал не отливается в понятия, если он не превращается в аналитический прием, то в итоге не появляется и новых концептуальных полей, не возникает основы для выработки теорий, которые могли бы быть перенесены в смежные дисциплины. Установка на материал — неплохая сама по себе — оказывается самодостаточной. И мне кажется, что это ошибка.

Что делать с этим, мне не очень понятно. Я надеялся раньше, что этот теоретический ступор в гуманитарных науках — это следствие их интеллектуальной выхолощенности в советский период (позитивистская опора на факт позволяла избежать идеологизации). То есть мне казалось, что это явление временное. Но, судя по отсутствию прорывов в этой области, мне кажется, корни этого явления нужно искать где-то еще. Хотя — стоит ли искать?..

**Александр Семенов** (*приглашенный профессор истории в Амхерст-колледже*): В мировой историографии я бы выделил два важных изменения в исторических исследованиях, которые связаны с взрывным развитием новой имперской истории и глобальной истории. Новая имперская история — это направление, связанное не только с осмыслением исторических процессов разнообразия и связанности в большом регионе Северной Евразии и опознаваемое по публикациям в журнале «Ab Imperio». Если посмотреть шире, данное направление развивается в британской истории (см., например, Стивена Хау (Stephen Howe) и его интерпретацию *new imperial history*), в области переосмысления глобальной истории империи Джейн Бурбанк и Фредериком Купером. Исторически интерес к проблематике разнообразия в его политическом и социальном выражении вырос из поля теоретической рефлексии над проблемами национализма и колониализма. Классические критические теории национализма поставили проблему несоответствия рамки национальной истории разнообразному пространству опыта прошлого, но при этом не предложили нового языка и видения для создания новых исторических нарративов. Многие наблюдатели говорят о сохранившемся методологическом национализме в работах деконструкторов нации и национализма — имеется в виду телеологичность в воображении магистрального направления истории Нового и Новейшего времени, устремленного к форме национального государства и нации как форме политической принадлежности и социальной солидарности. В рамках новой имперской истории как раз и происходит творческая работа по созданию новых нарративов исторического развития, которые высвечивают множественность форм суверенитета (супранациональные политические формации и системы разделенного суверенитета) и социальной солидарности (постколониальной и постимперской гибридной субъектности) в прошлом и ставят вопрос об исключительной монополии нации и национального государства на будущее.

Сходным образом в рамках глобальной истории (которую не следует путать, по удачному выражению Себастиана Конрада, с историей глобализации) происходит критика национально-контейнерного видения пространства прошлого опыта. Дополнительным импульсом для развития глобальной истории явилась ревизия евроцентризма в разных его формах (нарративных и эпистемологиче-

ских). Аналогично новой имперской истории в рамках глобальной истории ставится проблема исторического нарратива — как описать глобальное разнообразие прошлого вне заданного нарратива возвышения Запада как привилегированного субъекта истории и без порожденного колониализмом представления об антизападной аутентичности? Отсутствие готовых лекал нового исторического нарратива и языка описания разнообразия стало для выделенных мной двух направлений исторической мысли толчком к рефлексии и творческому экспериментированию с языком и формой исторического повествования.

**Николай Плотников** (*Рурский университет Бохума, профессор русской культурной и интеллектуальной истории Института славистики и русской культуры им. Лотмана*): В исследованиях интеллектуальной истории России в последние тридцать лет непрерывно усиливался тренд, который можно назвать «самоориентализацией». Он распространялся с начала 1990-х годов после крушения советской модели «истории общественной мысли», которая в марксистском духе укладывала все факты в единую линию неуклонного прогресса, кульминацией которого был сам советский марксизм в его ленинско-сталинском варианте. Эта модель не была ни подвергнута критике, ни деконструирована, а просто отброшена после распада СССР. Ее место довольно быстро заняла модель «самобытной русской философии», позаимствованная из эмигрантской философской литературы середины XX века и в первую очередь из трудов Н.А. Бердяева, а также из «Историй русской философии», вышедших из-под пера В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского и др. Отныне «русская религиозная философия» установилась как новая «генеральная линия» в исследованиях интеллектуальной истории России (и в сфере преподавания этой истории).

Факторы, способствовавшие установлению этой модели, были отнюдь не только идеологического характера. Конечно, антикоммунистический импульс, заключавшийся в стремлении заменить идеологический каркас советской философской науки прежде запрещенными идеями эмигрантских религиозных философов, был чрезвычайно силен. Но довольно быстро в производство текстов о «русской идее» и «самобытной русской философии» включились многочисленные когорты бывших преподавателей марксизма-ленинизма, увидевшие в новой модели знакомое по советским временам подчинение автономного философского знания идеологическим постулатам, теперь лишь религиозного порядка.

Вместе с тем укреплению этой парадигмы способствовало и вполне научное стремление исследователей обратиться к изучению и открытию прежде неизвестного и недоступного интеллектуального наследия русской эмиграции и философии дореволюционного периода — стремление, входившее в резонанс с литературоведческим и культурологическим открытием культуры «Серебряного века». Поток републикаций русских философских текстов начала XX века и эмиграции с новыми предисловиями, публикаций архивных биографических документов, переписки и ранее неопубликованных текстов захлестнул публичное пространство науки с 1990-х годов. При этом не было почти никаких попыток критической рефлексии ни самого этого републикуемого наследия, ни той историко-философской модели, которая заимствовала из эмигрантских обзоров русской философии.

Так случилось, что историко-архивный позитивизм вместе со своим антиподом в виде устремления прежних идеологических работников к новой «на-

циональной идее» укрепили парадигму «самобытной русской философии» в понимании интеллектуальной истории России. Отличительными особенностями этой парадигмы было почти полное заимствование концептуального горизонта дискуссий первой половины XX века, обогащенное новыми биографическими данными и архивными материалами.

Развитие дисциплины интеллектуальной истории в два десятилетия XXI века происходило уже в рамках сложившейся парадигмы «самобытности», окончательно институционализированной в университетском образовании. В отличие от предшествовавшего стихийного ее формирования в первое постсоветское десятилетие, теперь для ее обоснования задействовались аргументы из западных концепций «культурного релятивизма», критики «европоцентризма» и даже постколониальных теорий. Тезисы о несоизмеримости культурных и исторических контекстов, несовместимости «цивилизационных кодов» и неприменимости «западных» и «европоцентристских» концептов к изучению «русской духовности» становились базовыми в стратегии иммунизации собственной позиции от всякой критики, а также помогали представить изучаемые традиции как некое гомогенное пространство культурной самобытности. Следствием распространения такого культурного релятивизма и связанных с ним стратегий гомогенизации стало представление «русской философии» как жертвы западной колонизации, с одной стороны, и вместе с тем господствующей традиции на всем культурном пространстве бывшего СССР — с другой.

Принуждение российских университетов к включению в глобальный научный процесс через внедрение принципов Болонской системы и необходимость печататься в западных журналах и издательствах в последнее десятилетие нисколько не пошатнули парадигму самобытности, а, наоборот, ее только усилили, позволив представить «русскую философию» (в которую постепенно было включено и советское наследие) как предмет философской экзотики, в которой антизападный ресентимент вполне сочетался с логикой научного маркетинга и продвижения в западных публикациях.

Отсутствие критической рефлексии базовых предпосылок этой парадигмы самобытности в сочетании с переориентацией на рыночные стратегии способствовали тому, что исследования русской философии оказались неспособными противостоять политическим манипуляциям и превращению в идеологическое оружие борьбы с Западом, которые стали в последнее десятилетие основными способами авторитарного давления на науку.

Военная катастрофа демонстрирует с особенной отчетливостью полную интеллектуальную несостоятельность этой парадигмы и обнаруживает необходимость ее критической деконструкции.

**Катриона Келли** (*профессор русистики Тринити-колледжа Кембриджского университета*): Я бы сказала, что трансформация истории литературы и культуры началась значительно раньше, чем тридцать лет назад. Некоторые исследования, оказавшие фундаментальное влияние на эту область, восходят к 1970-м годам (назовем только три: «Надзирать и наказывать» Фуко, «Сыр и черви» Гинзбурга и «Возвращение Мартена Герра» Натали Земон Дэвис). На самом деле можно утверждать, что движение в сторону «антропологизации» прошлого заметно уже, скажем, в «Homo Ludens» Йохана Хейзинги, в трудах Филиппа Арьеса или в книге Энид Уэлсфорд «Дурак: его социальная

и литературная история» (первоначально опубликованной в 1935 году, но переизданной в 1961-м и 1968-м). И это не говоря о влиянии школы «Анналов», а в Великобритании и США — академических беженцев из Третьего рейха (например, Зигфрида Кракауэра и Эрвина Пановски). Младший представитель этой когорты беженцев, Зигберт Правер (1925—2012), исследователь и писатель, изучавший фильмы ужасов, а также немецкий романтизм и немецко-еврейскую литературу, в частности Гейне, был профессором немецкого языка на кафедре Тейлора, когда я училась в Оксфордском университете. Чрезвычайно важный вклад внесли Ричард Хоггарт, Стюарт Холл и другие сотрудники и бывшие студенты (например, историк-феминистка Кэтрин Холл) Центра современных культурных исследований Бирмингемского университета (Centre for Contemporary Cultural Studies), основанного в 1964 году (и закрытого в 2002 году руководством университета, для которого библиометрия была более важным критерием, чем международный статус), а также более старыми левыми фигурами, такими как Рэймонд Уильямс и Э.П. Томпсон.

Если говорить о том, когда стал мейнстримом подход (или подходы — их было много) «литература как культура», то одним из критериев будет его институционализация в престижных консервативных университетах. Я помню негодование, когда в 1981 году постструктуралисту Колину Маккейбу отказали в постоянной должности в Кембриджском университете; волны скандала не только ощущались в академических кругах, но затронули и более широкое общественное мнение. В конце 1980-х годов, будучи постдоком и пытаясь сформулировать концепцию своей первой книги, посвященной русскому уличному театру, я узнала о Карло Гинзбурге, чему обязана случайному разговору с приглашенным американским историком Тимоти Брином (меня немного вывело из себя, когда он сказал, что микроистория Гинзбурга придется мне по душе, но он был прав). Вскоре я переключилась на Стивена Гринблатта и других деятелей нового историзма, не говоря уже о культурной антропологии (в то время мое воображение занимал не столько Гирц, сколько Джим Клиффорд. Меня до сих пор интересуют некоторые поставленные им вопросы о том, чем определяется ценность; полагаю, в некоторых отношениях книга была вызовом кантовской «Критике способности суждения», которую я читала на последнем году школы).

Похоже, что в Россию изменения, которым подверглась культурная история, пришли позднее. При этом, конечно, бывало и наоборот: Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, а позднее М.М. Бахтин оказали большое влияние на западное мышление о культуре, подобно тому, как до них это сделали русские формалисты, иногда опосредованно, скажем через Цветана Тодорова. В любом случае я не претендую на роль первооткрывательницы. Я бы сказала, что на моей собственной работе интерес к теории культуры сказался не раньше 1990 года, когда у меня вышла книга «Петрушка: русский карнавальный театр кукол» («*Petrushka, the Russian Carnival Puppet Theatre*»), — название, конечно, дань уважения Бахтину, но в книге присутствует и много других влияний. Таким образом, то, чем я занималась, шло в ногу с событиями в России (о чем свидетельствуют немногочисленные, но вовлеченные реакции российских читателей на «Петрушку»). В целом, однако, я полагаю, что трансформация культурной истории приняла в России весьма отличную [от западной] форму. Так, рискну сделать поверхностное обобщение: [в России] примечательной чертой было сравнительно незначительное влияние Франкфуртской школы — без со-

мнения, по той причине, что марксистская социально-политическая критика мало привлекала тех, кто был вынужден изучать марксизм-ленинизм и диамат на протяжении своего образования.

Что касается достижений и лакун: когда я писала введение к своему сборнику «Не в фокусе: русская культура на полях» («Out of Focus: Russian Culture at the Margins»), в который вошли тексты 1990—2000-х годов, — книгу заказало оксфордское издательство «Legenda publishers» для своей серии сборников эссе — я осознала некоторые продолжительные идиосинкразии своих исследований, в частности внимание к группам и текстам, не входившим в мейнстрим. Название сборника — каламбур; оно предполагает помимо прочего и то, что акцент делается на микроисториях и изучении кейсов (однако дело еще и в выбранном жанре, поскольку несколько моих книг имели панорамный охват). Во введении к «Не в фокусе» я дала своему интересу к маргиналиям культуры биографическое объяснение: в частности, я росла членом этнического и конфессионального меньшинства в Англии, стране, имеющей достойную восхищения недавнюю историю терпимости (институционально закрепленную, к примеру, биллем об эмансипации католиков 1829 года) в сочетании с ужасающим прошлым религиозного фанатизма и, разумеется, крайне проблематичной имперской историей.

**Елена Чхаидзе** (*сотрудник Рурского университета, доктор филологии*): Свою преподавательскую и исследовательскую деятельность я начала в конце 1990-х годов на постсоветском пространстве, в Грузии, а в конце 2000-х продолжила ее в западноевропейском, в Германии. Это дало возможность познакомиться с двумя научными мирами, существовавшими на тот момент. В первом я наблюдала, как в литературоведении в формате «моды» или «шарма» вводилась терминология западной науки, начинались разговоры о компаративистском подходе к гуманитарным дисциплинам. Единичные молодые ученые «пугали» старшее поколение новыми словами. Во втором я уже жила в пространстве относительно новых для меня теорий и терминологии.

На мой взгляд, в литературоведении на постсоветском пространстве за последние три десятка лет происходила трансформация подходов и методов исследования, что было обусловлено облегченным доступом к трудам западных коллег и стремлением стать частью глобального научного сообщества. Грубо говоря, сформировались две группы ученых: 1) продолжающие работать в рамках методов исследования советского периода / советской школы и 2) исследователи, которые стали активно опираться на западные тематические векторы и методологию. Вне зависимости от языка публикации труды ученых второй группы обрели более широкую известность. Если говорить о моих личных научных интересах (вопросы межкультурных, транснациональных, гибридных взаимодействий), то работы американских и европейских ученых стали основой, от которой я отталкивалась. После развала европейских империй появились труды, в которых исследователи попытались определить особенности иерархии и взаимодействия «чужих и своих», а также «гибридов» межкультурного общения (Х. Бхабха, Э. Саид, А. Каппелер, С. Лейтон, Р. Росальдо, Р. Сани). В советской науке эти понятия старательно вписывали в рамки идеологемы «дружбы народов», а в западной науке такого не было. Книги упомянутых авторов повлияли на формирование новых подходов к анализу литературных произведений и литературного пространства как советского, так

и постсоветского периодов. На сегодняшний день существует множество открытых вопросов, касающихся межкультурных пространств. И на них предстоит дать ответы.

**Ханс Ульрих Гумбрехт** (*философ, теоретик литературы и историк культуры, профессор французской, испанской, немецкой и португальской литературы Стэнфордского университета*): Затрудняюсь сказать, в рамках каких дисциплин я работал последние тридцать лет. Официальный и номинальный ответ на этот вопрос был бы «сравнительное литературоведение» (*comparative literature*), но в американской университетской среде этим словосочетанием называют, во-первых, [изучение] самого широкого круга национальных и региональных «литератур», а во-вторых, все те философские традиции, которыми не занимаются на факультетах философии — последние почти всегда ориентированы на «аналитический» подход. Другими словами, вплоть до выхода на пенсию — а произошло это четыре года назад — я преподавал и исследовал как «литературу», так и «философию». С учетом сказанного я не вижу, чтобы в недавнем прошлом случились какие бы то ни было основательные или решающие перемены в гуманитарных науках в целом. Вне всякого сомнения, активная «политическая» ангажированность, которую избрали многие коллеги из моего поколения (его часто называют поколением «студенческого переворота» 1968 года), пошла на спад, тогда как «профессионализм» стал новой мантрой индивидуальной и коллективной ориентации. Но что означает «профессионализм»? Здесь видится попытка удовлетворить институциональные ожидания, способствующие карьерному продвижению или даже гарантирующие его. Если в большинстве стран из-за этой переориентации на «профессионализм» гуманитарные науки явно потеряли общественный резонанс, то среди неакадемических деятелей и организаций я наблюдаю и нечто противоположное — новый и удивительный интерес к гуманитарным исследованиям. Другой вопрос — получится ли у нас, академических гуманитариев, быть на уровне подобных ожиданий.

**Эллен Рутген** (*глава департамента русистики и славистики Амстердамского университета, профессор*): Тридцать лет назад, живя в деревне на юге Голландии, 16-летняя школьница, — я понятия не имела о таких феноменах, как славистика и русистика. Я начала активно работать в области славистики и литературных теорий только с начала XXI века. Между этим моментом и сегодняшним я наблюдала ряд трансформаций (и расширений) дисциплины. Прежде всего, этот ряд включает движение от *close reading highbrow* к менее текст-ориентированным методам и подходам, рассмотрение литературных практик в социоэкономической перспективе, а относительно недавно — концептуальный интерес к постгуманизму и антропоцену. Главный концептуальный сдвиг последних лет, однако — быстро нарастающий призыв к деколонизации дисциплины, как часть более широкого призыва гуманитариев к деколонизации. В нашей дисциплине последний интерес по понятным причинам экспоненциально растет начиная с февраля этого года.

Отдельный плодотворный сдвиг, который я и наблюдала, и лично чувствую как славистка, — эволюция феминизма от чуть ли не ругательного слова в ранние 2000-е годы до мощного исследовательского инструмента в контексте *queer studies* и *sexuality studies* сегодня. В 2000-е годы при защите диссертации

я роптала на феминистские прочтения русской классики Барбарой Хелдт; сегодня я переоткрыла для себя важность и этой, и других ранних феминисток-слависток. И если раньше я называла себя постфеминисткой, то сегодня (отчасти благодаря моим твердо приверженным феминизму студентам) с большим профессиональным интересом изучаю таких славистских феминисток и квир-мыслителей, как Галина Рымбу.

**Кевин Платт** (*профессор сравнительного литературоведения и исследований России и Восточной Европы в Университете Пенсильвании*): За последние тридцать лет гуманитарные науки претерпели кардинальные изменения в первую очередь в связи с радикальным изменением инструментов, используемых в применении к темам гуманистических исследований (язык, история, культурная жизнь). Моя академическая карьера взяла старт в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В этом смысле я современник НЛО. Когда я начинал работать, гуманитарии, интересующиеся «теорией», имели возможность обратиться к относительно устойчивому теоретическому канону европейской философии (главным образом континентальной), воздвигнутому на древних и патристических сочинениях от Аристотеля до Августина построенному вокруг традиций европейской философии Нового времени от Декарта до Хайдеггера и достигающему высшей точки в деконструкции и других постструктуралистских течениях.

Простой пример единства этого канона — структура докторской программы по сравнительному литературоведению и теории литературы, которой я десять лет руководил в Пенсильванском университете, а основала ее в 1970-х годах мыслительница-деконструктивистка Барбара Херрнстейн Смит. В своем первоначальном виде наша программа призывала всех студентов изучить «список пятидесяти книг», которые являли собой теоретический канон и давали, как мы думали, фундаментальную подготовку в области гуманитарной теории и методов. Тем не менее 1990-е и 2000-е годы засвидетельствовали умножение новых школ гуманитарной теории и методов: от теории травмы, постгуманистической мысли, экокритицизма и гендерных исследований до исследования материальных текстов, получившей новую жизнь социологии литературы, квир-теории, междисциплинарных обращений к культурной антропологии и многого другого. Применительно к данной анкете наиболее значимым можно считать появление постколониальной и деколониальной теории.

К середине первого десятилетия нового тысячелетия мне и моим коллегам стало ясно, что никакой единственный канон не в состоянии выступать от имени всей совокупности теоретических ресурсов и традиций гуманитарных наук. В конце концов мы отказались от унифицированного «списка пятидесяти книг» и вместо этого предложили студентам нашей программы составлять собственные списки теоретических и методологических инструментов при содействии факультетских экзаменаторов. Заглавия некоторых списков, составленных студентами, поистине вдохновляют: «Гендер и сексуальность», «Теория медиа: публики и адресаты» («Media theory: publics and receptions»), «Черные/пан-африканские феминизмы», «Теория травмы», «Постколониальные исследования», «Гендерная теория», «Языковой выбор и колониализм» («Language choice and colonialism»), «Поэтика», «Коммуникации, системы, сети», «Классические исследования», «Экотеория/экокритицизм», «Нарратология», «Расовые исследования», «От структурализма к деконструкции», «Теория пространства»

(«Spatial theory»), «Модернизм», «Социология и литература», «Транслингвальность», «Материальные тексты», «Психоаналитическая критическая теория», «Социалистический феминизм», «Антиевроцентрические методы», «Цифровые гуманитарные науки» и т.д.

Как видно из этого примера, за последние три десятилетия гуманитарные науки пережили настоящий взрыв альтернативных теорий и методов. Отвечая на ваш вопрос: в таком необъятном многообразии подходов невозможно идентифицировать специфические лакуны. Очевидно, что возможности для дальнейшего умножения новаторских теоретических формаций исчерпаны. Но важно также заметить, что многие новые теоретические течения и школы стремятся не просто предъявить «еще один новый подход», но осуществить революцию в структуре целого. Адепты многих новых теоретических формаций от феминистического критицизма до экокритицизма и постколониальных исследований предлагают тотальную и радикальную смену оптики и переориентацию на новые объекты исследования, новые и существенные проблемы или новые каноны первоисточников. Часто новые школы мысли требуют новых институциональных и дисциплинарных организационных принципов: новых курсов, новых профессур, новых центров и департаментов, новых журналов, новых профессиональных организаций и т.д. Равным образом, с учетом необъятного разнообразия новых течений, никакое единственное течение не может увидеть собственное отражение во всей совокупности дисциплинарного ландшафта. Каждая из этих соперничающих и идущих параллельными курсами революций с необходимостью частична, оспариваема и вечно незакончена. В результате текущую ситуацию в гуманитарных науках можно описать либо как перманентную революцию (если вы находите радикальные изменения живительными), либо как перманентный кризис (если вы ностальгируете по дисциплинарной определенности).

**Марк Липовецкий** (*профессор кафедры славянских языков Колумбийского университета, доктор филологических наук*): На наших глазах бесповоротно закончилась, можно даже сказать — была перечеркнута, эпоха, которая началась в перестройку. Для меня эта эпоха связана в первую очередь с НЛО — как журналом, как издательством, а главное, как центром идей и проектов. Возможно, я чересчур субъективен, но, на мой взгляд, наиболее фундаментальные трансформации науки и русской литературы совершались именно здесь. В 2010 году, в 100-м номере НЛО, Ирина Прохорова опубликовала манифест, в котором говорила в первую очередь о необходимости преодолеть «изоляционистскую традицию изучения отечественного историко-культурного опыта как самодостаточной закрытой лейбницевской монады... со своими тайными законами и путями развития»<sup>2</sup>. Этот подход должен был противостоять как националистической, так и ориенталистской интерпретациям русской культурной и исторической исключительности. Новый взгляд, как верилось более десяти лет назад, мог бы ввести русские сюжеты в глобальный контекст. Новейшая теоретическая оптика, в свою очередь, должна была способствовать компаративистскому подходу к русскому материалу.

2 Прохорова И. Новая антропология культуры. На правах манифеста // Новое литературное обозрение. 2009. № 6 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/novaya-antropologiya-kultury.html?ysclid=la4etem96y667789987> (дата обращения: 05.11.2022)).

Сразу скажу, что, с моей точки зрения, задача преодоления культурного изоляционизма, свойственного российской гуманитаристике, была решена в одностороннем порядке. Уже несколько поколений исследователей русской культуры и в России, и за ее пределами, говорят на едином концептуальном языке — или же на его взаимопереводимых диалектах. Независимо от места жительства, наши коллеги опираются на общий круг теоретических авторитетов, хотя, разумеется, и с небольшими вариациями. В этом кругу, возможно, центральное место принадлежит Фуко, однако и сторонники германской критической теории, и французские постструктуралисты, а также гендерные и квир-исследования, *trauma and memory studies*, а в последнее время и думаю, в близком будущем, постколониальные концепции занимают в нем почетное место, наряду с почти обязательным Агамбенем. Из российских ученых в него в основном попадают формалисты, иногда Бахтин и Лотман.

С другой стороны, наш костер по-прежнему в тумане светит, и мало кого, кроме нас самих, греет. Русский материал, как и тридцать, как и пятьдесят лет назад, входит в поле зрения западных исследователей (если вообще входит) по нескольким узким каналам: первый — Толстой и Достоевский, второй — Бахтин (и немного Шкловский); третий — Эйзенштейн (и немного Дзига Вертов плюс Тарковский). Думается, для этой узости есть глобальные причины, в первую очередь связанные с особенностями западных моделей гуманитарного образования.

**Евгений Добренко** (*профессор факультета языков и сравнительных исследований культуры Венецианского университета Ка-Фоскари*): В течение последних тридцати лет в русистике произошли радикальные перемены: в ее статусе (он несколько раз сменился на Западе), методологии (она успела пройти через несколько важных «поворотов»), понимании самого предмета и статуса субдисциплин. После перестроечного бума, и в особенности после распада СССР, интерес к русистике упал (особенно в англо-американском мире), закрылись многие кафедры и программы в университетах. Затем интерес начал медленно возрождаться, начался рост студентов, привлеченных, видимо, перспективами бизнеса в России. Все это теперь, конечно, обрушится.

Тридцать лет назад русистика представляла собой странный гибрид: в ее основании лежал XIX век (главным образом Достоевский); огромное, совершенно неадекватное место занимал Серебряный век, который вырос до непропорциональных размеров; от него рос «великий русский авангард»... Определяющие факторы в истории русской литературы XX века (такие, как сталинская культура) вообще были вытолкнуты за пределы изучения и с презрением третируются как недостойные науки. Например, в англо-американской русистике десятками и сотнями выходили статьи о книги о третьестепенных авторах Серебряного века, тогда как о советском романе сталинской эпохи вышла одна книга. Единственной книгой о советском кино в течение десятилетий была книга Джея Лейды, написанная более шестидесяти лет назад, и т.д. Все это за тридцать лет сильно изменилось. Сегодня изучение русской культуры XX века выглядит качественно иначе. И методологически, и в том, что касается материала. Новые направления исследований возникли. Другие усохли. Дисциплина стала более сбалансированной, более отвечающей запросам сегодняшнего дня, более вписанной в мировой контекст. До недавнего времени я рассматривал происходящее в западной русистике в целом весьма опти-

мистично. Но теперь все изменилось. Не столько для нас, сколько для западного восприятия.

Разница в том, что в 1950—1980-е годы русистика все еще питалась повестью дня эмиграции первой волны, имела «призвание» и «миссию» (третья волна была не столько историей литературы, сколько тем, что в книжных магазинах стоит под рубрикой «Current affairs»). Так вот — этот статус «великой классики» сегодня прошел и, кажется, бесповоротно. Это касается не только Серебряного века, но даже и Золотого. Нет, речь не о пресловутой «отмене». Сама Россия себя «отменила». На фоне брутальности происходящего все рассуждения о «всемирной отзывчивости», «совестливости», «соборности», «загадочной русской душе» и т.п. полностью обесценились. Еще больше обесценилась питавшая Серебряный век «русская религиозная философия» — весь этот националистический стон, полный имперских фантомов, непереваренного народничества, дремучего мистицизма, а нередко и просто фашизма. Все это тонет на наших глазах в картинках «Русского мира» и с мест боев. Русская литература потеряла свое главное достояние — *moral ground*. А без моральной почвы ее «вечные вопросы» превратились в риторику. В результате «великая литература» перестала производить актуальные смыслы. Вернее, так: Россия повернулась к миру такой стороной, что теперь актуальные смыслы производят разве что «Клеветникам России» Пушкина, «Дневник писателя» Достоевского, «Скифы» Блока, «На независимость Украины» Бродского... И это не скоро изменится. Не уверен, изменится ли на нашем веку. Поскольку если тридцать лет назад распад Советского Союза был воспринят в мире с энтузиазмом и надеждой, то после нынешнего политического фиаско законный скептицизм на Западе столь велик, что он не очень не скоро сменится хотя бы осторожным оптимизмом.

**Риккардо Николози** (*профессор славянских литератур Мюнхенского университета*): В немецких университетах моя специальность называется славистикой и имеет похожую дисциплинарную структуру, что и у других специальностей по иностранной филологии, таких как романистика, скандинавистика или англистика/американистика. Это означает, что она состоит по меньшей мере из двух отдельных дисциплин, литературоведения и лингвистики, а в учебную программу входят иностранный язык и методология преподавания предмета. Таким образом, в немецкой славистике, как в преподавании, так и в научных исследованиях, языковедение играет большую роль по сравнению с другими западными странами (однако здесь я сосредоточусь на предмете своей специализации, литературоведении). Еще одна особенность немецкой славистики заключается в том факте, что славистические кафедры, как правило, не подразделяются в соответствии с национальными филологиями (то есть они не делятся исключительно на русистику, полонистику, богемистику и т.д.), но отвечают за несколько — обычно два — славянских языков и литератур каждая. Это сказывается на образовании немецких славистов, которые хотя по большей части и русисты, но не всецело и не по принуждению: считается само собой разумеющимся, что к исследовательскому профилю немецкого слависта принадлежит полонистика и в меньшей степени богемистика и южная славистика. И если по всему миру сегодня говорят о том, чтобы деколонизировать славистические исследования и тем самым поставить предел господству русистики, которое воспринимается как

имперское, то в немецком контексте эта проблема так остро не стоит. Если русистика и является самой преподаваемой и исследуемой славистической дисциплиной, то в Германии она не имеет такого господствующего положения как, например, в США. Таким образом, немецкая славистика в меньшей степени организована по принципу «национальных литератур», что имеет несомненные преимущества: это позволяет изучать сцепления и переплетения славистических культур вне границ, задаваемых национальными филологиями.

За последние тридцать лет немецкая славистика претерпела основательные изменения. После объединения восточногерманские славистические институты подверглись ревизии и реструктурированию, и этот процесс не прошел без болезненных последствий для их старых сотрудников, работавших в ГДР. В то время как в Восточной Германии таким образом произошла примерно такая же революция гуманитарного знания, как и во всей Восточной Европе, в немецкой славистике в целом дали о себе знать изменения методологии, затронувшие все немецкое литературоведение. В славистике возник методологический плюрализм, типичный для немецкого литературоведения последних тридцати лет, хотя, разумеется, не без своих особенностей. Формалистские, структуралистские, герменевтические и семиотические принципы по-прежнему составляют базис славистического литературоведения, которое все больше определяет себя как науку о культуре и проникает в разные исследовательские области: постколониальные и гендерные исследования, теорию медиа, поэтологию знания и т.д. В целом в Германии последних десятилетий можно наблюдать серьезное взаимодействие и сочленение гуманитарных наук, которое сделало методы немецкой славистики более совместимыми [с методами других наук] и повысило ее способность к диалогу. Этому есть и институциональные причины, потому что исследования на средства третьих лиц, значение которых растет, требуют междисциплинарности, и такая малая специальность, как славистика, вынуждена развивать способность к диалогу с другими дисциплинами (германистикой, романистикой, англистикой, но также с историческими науками, социологией, политологией и т.д.), в чем еще несколько десятилетий назад не было нужды. Включение славистики в большой совместный проект, с одной стороны, дало позитивный теоретический толчок, но с другой — привело к утрате специальных знаний, от чего в особенности пострадали узкофилологические начинания, прежде всего в области медиавистики. Одновременно обнаруживается институциональная тенденция приписывать славистику к регионоведению, то есть рассматривать ее как часть междисциплинарных исследований Восточной Европы, что может привести к утрате подлинно филологического момента, связанного с литературоведением и языкознанием.

**Алейда Ассман** (*профессор университета Констанц, исследователь культурной памяти*): Я действительно наблюдаю огромную перемену в нормах, ценностях и негласных аксиомах, из которых складывалась гуманитарная наука 1980-х и 1990-х годов. Прежде всего я заметила глубокий кризис «режима времени модерна», как я это назвала, который на протяжении холодной войны был всеобщим верованием даже несмотря на острое противостояние политических идеологий. Капитализм и коммунизм оба были построены на допущении, что прошлое — это прошлое, его можно забыть и не принимать

в расчет, и только такое будущее, которое отсоединено от прошлого, может быть источником новой энергии, инновации и преобразования<sup>3</sup>.

Для меня 1989 год был определяющим поворотным пунктом, изменившим мою оптику гуманитарного ученого. Я стала рассматривать режим времени модерна как «нормативное мировоззрение», которое не подвергается критической инспекции, пока не обнаружит своих явных недостатков. Для меня 1989 год был не концом истории, но ее возвращением и началом памяти. В то время такое восприятие вещей было распространено, но многие дисциплины продолжают следовать временному режиму современности. Этот временной режим по-прежнему функционирует, его нельзя и не следует отменять, потому что он по-прежнему действует в естественных науках и в хозяйстве, где он поддерживает современную, основанную на науке и технологиях, цивилизацию. От него нельзя совсем отмахнуться, но мы научились видеть его в перспективе, начали учитывать вред, который он причиняет, и пересматривать вписанные в него ценности.

Мой интерес к культурной памяти и к тому, как общества помнят и забывают, был вызван довольно резким возвращением памяти о холокосте в Западной Германии в 1980-е и 1990-е годы. Этот личный опыт заставил меня погрузиться в парадигму, которая фокусировалась также и на других возвращениях травматических воспоминаний, которые я изучала с растущим интересом, заново открывая аффективное измерение истории, которое историография полностью отрицала или недооценивала.

**Михаил Ямпольский** (*профессор Нью-Йоркского университета, доктор искусствоведения*): Мне непросто отвечать на вопросы вашей анкеты. Связано это с тем, что я не причисляю себя ни к какой дисциплине и издавна отношусь к дисциплинарности с большой подозрительностью. В университете я существую между кафедрами русистики и компаративистики. Компаративистика меня всегда привлекала больше, потому что не обладала дисциплинарной определенностью, но многие годы я был свидетелем того, как компаративисты пытались оформиться в дисциплину с методом, кругом тем и проч. И я всегда был против этого. Дисциплина — это всегда догматизация взгляда и претензия на возможность некоего единого метода. Но главное — это принятие неких предпосылок, иерархий и догм без критического осмысления. А значит — это почти всегда путь в тупик.

Что касается новых трендов внутри дисциплин, то я отношусь к ним очень критически. Большая часть моей гуманитарной работы прошла в Соединенных Штатах, где новые тренды и субдисциплины формируются гораздо агрессивнее и жестче, чем в Европе, куда, как и в Россию, они постепенно приходят из-за океана. Первоначально новые подходы могут быть интересными и внушающими надежду, но они почти мгновенно институционализируются, тира-

3 См. мою вышедшую в 2016 году книгу «Расшатался ли век?» («Ist die Zeit aus den Fugen?»), а также ответ рецензенту: *How the Future Fell from Grace and How to Repair It. Changes in Time-Consciousness in the Late Twentieth and Early Twenty-first Century: A Response to Joe Davidson's "From the Future to the Past (and Back Again?): A Review of Aleida Assmann's Is Time Out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime (Ithaca: Cornell University Press and Cornell University Library, 2020)"* // *International Journal of Politics, Culture, and Society*. 13 October 2021 (<https://link.springer.com/article/10.1007/s10767-021-09413-8#citeas> (дата обращения: 21.10.2022)).

жируются в сотнях диссертаций и монографий и стремительно превращаются в невыносимую догматику, тормозящую развитие мысли. В итоге мы всегда имеем дело с колоссальным тиражированием бессмыслицы и некритического мышления. Это произошло и с постколониальными и с гендерными исследованиями. Все это всегда заставляло меня держаться вдали от трендов и не связывать с ними надежды на дисциплинарное обновление.

**Ощущаете ли Вы потребность в изменении методологии Вашей дисциплины и обновлении ее теоретических оснований в связи с новым вызовом времени? Если да, то какие изменения Вы бы приветствовали и почему?**

**Сергей Зенкин:** По-видимому, «вызов времени» потребует чего-то вроде нового «политического поворота» в гуманитарных науках. Пора осознать (в других странах это уже до какой-то степени сделано), что для них политика — как природа: гони ее в дверь, она влетит в окно. Вот, например, я упоминал Серебряный век как часть нового, постсоветского литературного канона; но ведь его можно использовать и как удаленную, допускающую относительно беспристрастное рассмотрение модель для нынешних споров об «ответственности русской культуры». Как получилось, что эта великая культура допустила катастрофу 1914 года и все, что за нею последовало? Виновата ли она и если да, то в чем? Хотя я и не русист, но все же говорю здесь не совсем как посторонний, потому что тот же вопрос можно задавать и в отношении других культур и литератур, например французской.

**Сергей Ушакин:** Лет пятнадцать назад, когда я начинал говорить о постсоветском как постколониальном, собеседники смотрели на меня с удивлением и быстро уходили в сторону. Не было такой темы в постсоветском обществоведении. Ну, практически. За последние годы ситуация изменилась немного. Но изменения эти скорее риторические, чем сущностные. Большинство постколониальных исследований, делающихся на местном материале, — это прикладные попытки приспособить Саида и Спивак к местным условиям. В итоге получаются странные интеллектуальные кульбиты. Например, если у Саида на основе критики колонизации и империализма вырастает «Ориентализм», то у нас в лучшем случае получаются разнообразные версии импортозамещения — в виде «самоориентализаций» всех мастей. Такая бесконечная апроприация в режиме лакановской «зеркальной стадии».

Эти попытки, разумеется, обнадеживать не могут (лет двадцать пять назад сходным способом «переводили» на русский язык гендерную теорию и феминизм, которые так и остались в странном положении не то дичков, не то экзотов). И причина безнадежности не только в том, что социальная теория — это всегда теория, заземленная в специфических, местных социальных условиях. Проблема еще и в другом: прикладничество в использовании условных Саидов и Спивак противоречит самой логике постколониальности, которая требует активации *своих* способов производства знания, опоры на *свои* интеллектуальные ресурсы и способности выстраивать диалог с господствующими парадигмами и концептами на *своих* условиях. Мне бы, естест-

венно, хотелось, чтобы мы об этих собственных возможностях знали больше. И о теории антиколониального сопротивления узнавали не только от Фанона, но и от Сафарова.

Еще одна большая тема, столкновения с которой, мне кажется, нам не избежать, — это выяснение отношений с двумя ключевыми понятиями и практиками социально-культурного устройства: государством-нацией и государством-империей. Как соотносить те принципы и практики космополитизма, модернизма, универсальности и прочей, как ее называл Шестов, беспочвенности, которые так широко были продемонстрированы двумя декадами глобализации, с практиками социальной организации, которые строятся вокруг *Gemeinschaft*, то есть сообществ, для которых аффективность и география являются определяющими? Или, с другой стороны, что делать, когда претензии тех или иных практик на универсальность оказываются лишь прикрытием стремления к гегемонии?

Я не думаю, что это противостояние империи и нации можно преодолеть путем сведения его к теме онтологического разнообразия («что немцу смерть, то русскому здорово»). Перспективизмом тут не обойдешься. Понятно, что необходимы какие-то более амбициозные концептуальные дебаты об империи, формах колониальной зависимости, постколониальных суверенитетах и деколониальных трансформациях. И на мой взгляд, без возвращения и вторичного анализа истории формирования советских наций, без внимательной реконструкции, так сказать, истории этой болезни в рамках постколониальных исследований и деколониальных процессов нам не обойтись.

**Александр Семенов:** В области методологии исторических исследований стоит несколько серьезных теоретических вопросов. Первый из них касается сохраняющегося методологического национализма, который находит свое выражение в структуралистском полагании коллективных идентичностей, политической легитимации и исторического нарратива. Интересно заметить, что параллельно с новой имперской историей в переосмыслении исторического опыта Северной Евразии развивался так называемый имперский поворот. Удивительным образом исследования в рамках «имперского поворота» не привели к существенной ревизии исторического нарратива истории государственности и «государствообразующего русского народа», если использовать слова последних поправок к Конституции Российской Федерации. Карамзинско-соловьевская историческая схема осталась на прежнем месте как смыслопорождающая основа исторической интерпретации. Неизменность исторического нарратива при заявленной интенции ревизии исторической интерпретации — это самый формальный тест на негативный результат методологической инновации. Но как в рамках этой схемы понять и объяснить реалии современной России: как понять возникновение федеративной структуры современной Российской Федерации? откуда вывести систему духовного мусульманского управления как одной из российских исторических религий? как контекстуализировать появление Сибири и Дальнего Востока в политическом пространстве России? Очевидно, что проблема проваленной методологической инновации в рамках «имперского поворота» заключается в сохранении структуралистского представления о политическом суверенитете и онтологии социальных групп. Иными словами, сохраняющийся исторический нарратив не справляется с адекватной репрезентацией гетерогенного исторического опыта и не отвечает на вопросы совре-

менного общества, которое интересуется вопросами разнообразия, например различия сексуальных ориентаций.

В рамках исторической профессии встает и еще один кардинальный вопрос, суть которого в профессиональной идентификации историка. Является ли история гуманитарной дисциплиной, где острие научного метода направлено на схватывание многообразных и нередуцируемых идентичностей и субъективностей? Или история является также и социальной наукой, которая призвана если не вскрывать причинно-следственные связи, то объяснять логику исторических развилок и смены эпох? Новую имперскую историю часто обвиняют как раз в том, что она напоминает демократический хор, где каждый имеет голос, но вот исполнение уже напоминает постмодернистскую какофонию. На мой взгляд, современная работа с логикой исторического нарратива, с темпоральными рамками (долгим историческим временем и пунктирной историей смены поколений и социальных парадигм) и пространственным контекстом как раз и возвращает истории эту важную функцию социальной науки.

**Николай Плотников:** ...потребность в смене исследовательской парадигмы в изучении интеллектуальной истории становится первостепенной. А в процессе смены этой парадигмы произойдет и перенастройка методологических инструментов этих исследований. Одним из ведущих трендов этого процесса станет отказ от ригидной бинарной оппозиции России и Европы/Запада как основной модели интеллектуального развития и переход к анализу восточно- и центральноевропейского поля взаимосвязей, подчеркивающему культурный плюрализм в развитии идей и контекстов этого развития. В методологическом отношении для этого потребуется переход от фронтальных сравнений и глобальных моделей влияния (типа «Соловьев и Шеллинг», «Гегель в России») к учету сложных переплетений интеллектуальных трансферов на всем пространстве распадающихся империй уже не по оси Берлин — Москва, но из самых разных географических точек и концептуальных узлов дискуссионного поля Центральной и Восточной Европы.

Как раз благодаря многим публикациям издательства «НЛО» подходы к такой плюрализации интеллектуальной истории (в работах Р. Козеллека, М. Эспаня, Кембриджской школы) становятся в последнее время необходимой составляющей научной дискуссии о методах исследования в российской интеллектуальной истории. Чисто позитивистская био- и фактография, встроенная в спекулятивные конструкции «самобытной русской цивилизации», окончательно уходит в прошлое.

**Катриона Келли:** В некоторых отношениях — подход, тема, даже эпоха — моя работа всегда была весьма разнообразна: я писала о женском письме и об истории русской культуры начиная с конца XVIII века. Но в другом отношении фокус [моих исследований] более узок. Последние тридцать лет я уделяла основное внимание пониманию русской культуры в мировом контексте. Студенткой я глубоко интересовалась сравнительной литературой (и даже получала мягкие упреки за то, что тащила в свои эссе по немецкой литературе слишком много примеров из английской или русской литературы, или за примеры из английской и немецкой литературы в эссе по русской). Моя докторская диссертация была посвящена рецепции греческой и латинской литературы в Рос-

сии начала XX века (в частности, в поэзии, эссе и пьесах Иннокентия Анненского). И все же в основном я проводила сравнения по оси Россия — Запад. Так, например, написанная мной история детства в Российской империи и СССР хотя и уделяла большое внимание влиянию западных идей на русскую мысль и практику, явным образом была сосредоточена на населении России (включая детей русских евреев и татар как примеры крупных этнических меньшинств, которые в значительной степени были ассимилированы большинством населения). Таким образом, даже мои исследования меньшинств вписывались в общий контекст русской культуры: это относилось и к статье для номера НЛО о диаспорах, которую я посвятила мигрантам из бывшего СССР в Санкт-Петербурге и тому, как представления о Петербурге как о «европейском городе» провоцируют отвращение к так называемым азиатам<sup>4</sup>.

Тем не менее задолго до политического и морального кризиса, который начался 24 февраля 2022 года, я пришла к выводу, что настало время уделить больше внимания российскому «ближнему зарубежью», а именно отношениям, сложившимся в позднесоветский период между российской метрополией и республиками. Катализатором стала моя недавняя работа о позднесоветской киноиндустрии «Дом советского искусства: Студия “Ленфильм” при Брежнев» («Soviet Art House: Lenfilm Studio under Brezhnev»). Советская киноиндустрия была, конечно, «имперской» в том смысле, что она управлялась из Москвы, причем с явственным упором на иерархии, идущей от столицы к периферии. Так, когда Илья Киселев, директор «Ленфильма» с 1961 по 1972 год, решал, что делать с режиссерами, которых он считал не очень хорошими, он предложил отправить их в Среднюю Азию. Вспоминаются заключительные строки знаменитой юмористической поэмы Хилэра Беллока о сентиментальном лорде Ланди, который, после того как «в политику был втянут», опускается все ниже и ниже, пока в конце концов его не изгоняет из страны его собственный разъяренный дедушка: «В глазах темнеет... Сяду в кресло... Иди! Правь Новым Южным Уэльсом!»<sup>5</sup> Империя здесь свалка, куда отправляют бесполезных. И все же киноиндустрия была не просто центром метропольного снобизма. Она была поистине пансоветским феноменом — куда более, чем литература, живопись или даже музыка, — и некоторые связи более или менее обошли стороной центр: известный случай — это Сергей Параджанов, армянин, родившийся в Грузии, работавший в Киеве, Ереване и Тбилиси, чья карьера приняла совершенно новую форму, когда, будучи не особо примечательным штатным режиссером на студии Довженко, он получил поручение экранизировать повесть Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков» («Тіні забутих предків»). Мой новый проект, над которым я начала работать в 2020 году, посвящен историческому кино после 1953 года, включая фильмы, снятые не только в России, но и на Кавказе, в Украине, Средней Азии и Прибалтике.

В целом сдвиг в моем мышлении от «национального» к «имперскому» подходу случился задолго до 24 февраля 2022 года. В то же время этот сдвиг

4 Келли К. «Гости нашего города»: мигранты в «самом европейском городе России» / Пер. с англ. А. Горбуновой // Новое литературное обозрение. 2014. №3 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2014/3/gosti-nashego-goroda-migranty-v-samom-evropejskom-gorode-rossii.html> (дата обращения: 10.10.2022)). — *Примеч. ред.*

5 Беллок Х. О Лорде Ланди / Пер. с англ. М. Польшковского (<https://stih.ru/2012/05/29/2781> (дата обращения: 05.11.2022)) — *Примеч. ред.*

был несомненно ускорен тем фактом, что в последние несколько месяцев вопросы империи и исторической мифологии сделались гораздо более актуальными, чем кому-либо хотелось бы.

**Елена Чхаидзе:** Потребности в изменении методологии в моих исследованиях я не предвижу, но становится ясно, что после 24 февраля при желании публиковаться в России придется обращать более пристальное внимание на тему и контекст. Публиковать современные исследования на русском языке и в России весьма важно, так как должно быть услышано множество голосов и должен быть продолжен разноликий исследовательский процесс, а не биполярный. Скорее всего, «вызов времени» заставит ученых, которые работают в России и хотят там публиковаться, обратиться к самоцензуре и любимому в советские времена эзопову языку. Последние события поставят исследователей перед выбором: выживать или лезть на рожон, но не находясь в России, а уехав за границу. В это очень турбулентное время я стремилась бы исходить из принципа «Не навреди!».

Если говорить о пожеланиях, то хотелось бы, чтобы в европейских университетах среди лекционных курсов, касающихся советских и постсоветских исследований, появились дисциплины, изучающие советское пространство не только исходя из перспективы «центра». Где лекционные курсы, связанные с межнациональными культурными/литературными пространствами бывших советских республик? Ясно, что из-за последних событий тема Украины, украинского языка и литературы зазвучит громко, но где курсы, фокусирующие внимание на роли и на культурно-литературных связях бывших советских азиатских или закавказских республик и их автономий?

**Ханс Ульрих Гумбрехт:** Последние двести лет, то есть на протяжении того времени, когда гуманитарные науки возникли и приобрели относительную значимость в качестве кластера академических дисциплин, их внутренние изменения, как мне кажется, были продиктованы главным образом интеллектуальной логикой, а не внешними импульсами — и возможно, что такая независимость обуславливала их интеллектуальную силу (а порой и отсутствие общественного резонанса). Как я уже говорил выше, я не вижу и не помню никаких основательных перемен или судьбоносных инноваций в «методологии» и «теории» наших дисциплин на протяжении последней четверти века. В том, что касается моего собственного скромного вклада в «теоретическое обновление», а именно продолжающейся рефлексии по поводу того, что я называю «присутствием» в культурном и текстуальном анализе, мне хватает оптимизма полагать, что некоторые недавние политические, социальные и культурные перемены согласуются с понятиями и аргументами, касающимися присутствия<sup>6</sup>. Например, такие понятия и аргументы способны помочь в объяснении того, откуда взялись широко распространенные чаяния «горизонтов», на которые можно было ориентироваться в обстановке, сложность которой кажется чрезмерной, или в анализе возврата к неприкрытому использованию военного (и не только военного) насилия и (к сожалению) к восхищению им.

---

6 Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать значение / Пер. с англ. С. Зенкина. М.: Новое литературное обозрение, 2006. — Примеч. ред.

**Элен Руттен:** Вижу и приветствую растущий методологический интерес к дигитальным исследовательским инструментам. Но, как мне кажется, методологическое изменение, особенно ценное именно для славистов, — громко звучащие уже с середины 2000-х годов призывы к не столь бинарным видам аналитического мышления о, скажем, «публичном» и «приватном», «диссидентах» и «власти» или, скажем, об «онлайн» и «офлайн» публичных сферах. Среди коллег, которые меня вдохновляют, — Алексей Юрчак, Евгений Добренко, Клавдия Смола, Марк Липовецкий, Маша Энгстрем, Сергей Ушакин, Вера Зверева, Генрика Шмидт и Ади Кунцман. Несмотря на серьезную, неустанную работу этих и других коллег, призыв не думать в жестких оппозициях остается важным методологическим жестом в нашей профессии.

**Марк Липовецкий:** Мне как русисту необходимо научиться помещать русофонные культурные феномены в сопоставительный контекст. Это может быть контекст хотя бы одной из славянских культур или хотя бы одной из культур бывшего СССР. Продолжая заниматься культурой XX—XXI вв. — это область моей специализации — я не могу теперь не думать о том, почему в очередной раз провалилась трансформация России из авторитарного в свободное общество, почему значительные — тридцатилетние! — достижения на этом пути в конечном счете привели к тому беспросветному тупику, итогом которого стало 24 февраля 2022 года. Чтобы искать ответы на этот главный вопрос, разумеется, необходимо иметь в виду, с одной стороны, те постсоветские культуры, где подобный поворот был возможен, но не произошел, а с другой стороны, те, где он тоже произошел, несмотря на культурную специфику. Разумеется, этот вопрос не под силу одному человеку или даже международному коллективу ученых. Но он, на мой взгляд, должен определить направление исследований постсоциализма — с разных точек зрения, в том числе и с точки зрения истории культуры. И он, по-видимому, определит тот спектр методологий, а также новых теоретических моделей, которые могли бы продвинуть эти исследования.

Ведь нынешний тупик российской модернизации при всей его трагической уникальности резонирует с глобальными тенденциями. Официальная российская политическая риторика — в свою очередь, поддержанная российской культур-индустрией, — начиная с 2014 года вызывала широкую поддержку среди американских и европейских ультраправых. Она вливалась в достаточно широкое культурно-политическое движение национализмов и популизмов, направленное против глобализма, миграции, феминизма, ЛГБТК, мультикультурализма, постмодерной этики (снисходительно называемой политкорректностью) и аналогичных культурных тенденций. Именно это движение привело к власти Трампа и других лидеров «иллиберальных» режимов. Однако катастрофические последствия, которые этот культурно-политический феномен породил в России, сопоставимы с тем, как европейская левая идея трансформировалась в русский большевизм в 1917-м.

Естественно, всякая модернность включает в себя контртенденции, но почему в России с такой регулярностью именно они берут верх, приводя к коллапсу всего того ценного и живого, что десятилетиями создавалось по кирпичику? Как мы, исследователи культуры, можем ответить на этот вопрос? На этих путях, по-видимому, придется довольно далеко уходить от существующих научных моделей, намечая собственные теоретические подходы. Теории ресен-

тимента, фашизма, ностальгии, а также существующие модели национализма лишь отчасти и явно неточно объясняют происходящую сегодня катастрофу.

Мне кажется, выросшие на страницах НЛО методы исследований, обращенные на повседневные практики, на невидимые, но влиятельные механизмы культуры, на неочевидные, но неустрашимые паттерны в литературе и искусстве, особенно массовом, могут помочь понять, как происходит воспроизводство русского имперского национализма *на уровне языка и воображения*, на уровне социальных рефлексов и фантомов, а уж затем — идеологии. Аналогичным образом именно методы «антропологического поворота», обогащенные компаративистской перспективой, могут прояснить внутренние механизмы российской «абортивной модернизации» (Л. Гудков), — я бы сказал: суицидальной модерности — механизмы, отличающие ее от других (не всех, разумеется) постсоветских и постсоциалистических культур, таких как украинская, чешская или польская, в которых сходные тенденции не породили столь разрушительных результатов.

Иными словами, мы возвращаемся к тем же задачам, которые обсуждались десять лет назад (и более): необходимости преодоления «изоляционистской традиции изучения отечественного историко-культурного опыта как самодостаточной лейбницевской монады». Усвоение современных теоретических языков, как видим, не решает эту проблему в полной мере.

**Евгений Добренко:** Несомненно, такая потребность есть. Но проблема в том, что мы все оказались заложниками политических процессов, в рамках которых формируется отношение не столько к нашей дисциплине, сколько к самому ее объекту — России. От наших пожеланий поэтому мало что зависит. Для того чтобы какие-то содержательные методологические изменения произошли, необходимо, чтобы для этого сложились институциональные предпосылки, а в их отсутствие все это благие пожелания. Что касается методологических изменений, то изменения, которые нас ждут в России, предсказать несложно — в этих водах мы уже бывали. Легко предсказать на одном полюсе расцвет православно-патриотического «литературоведения» с его рессентиментом, автаркией, словоблудием и национальной спесью — эдакой смеси «мрачного семилетия» со ждановщиной. На другом полюсе — реакцию высоколобого академизма, замыкающегося в архивный эмпиризм и уходящего в глухую текстологию, с его методологическим изоляционизмом, агрессивным антитеоретизмом и обращением к заведомо маргинальному материалу. В России дисциплину ожидает не методологическое обновление, а дальнейшая архаизация и провинциализация. Из-под обломков этого мусора выбираться будет очень непросто.

**Алейда Ассман:** Вопрос, который гуманитарные ученые напрасно долгое время упускали из виду, оставляя его политологам, — это вопрос о статусе национального государства. До недавнего времени поддержка национального государства была редкостью. Большинство интеллектуалов считали его устаревшим пережитком прошлого, который в глобализованном и космополитическом мире автоматически исчезнет. В 1980-е и 1990-е годы таково было влиятельное мнение известных социологов, таких как Никлас Луман и Ульрих Бек. Левые интеллектуалы тоже относили нацию к числу вещей, которым нужно сопротивляться любой ценой. В их глазах она обязательно была связана с пра-

вым национализмом и этническим шовинизмом. Нам нужен новый дискурс о национальном государстве, чтобы создать понятия и мерил для оценки различных исторических контекстов, которые могут помочь предотвратить опасные тенденции и усилить положительные.

Буква Н в аббревиатуре ООН означает «нация», причем имеется в виду национальное государство. Существуют очень разные национальные государства — в форме диктатур и демократий, автократий и империй. После падения железного занавеса, которым закончился временной режим современности, мы пережили возрождение интереса к истории и новую волну этнизации во многих восточноевропейских странах, восстановивших в памяти травматические истории собственных страданий. Такие страны, как Китай и Россия, тоже отошли от космополитического и мультикультурного мышления и вновь стали определять себя коллективным образом, по-новому реконструируя свою историю.

Если после 2000 года желание иметь историю и память, заново обрести прошлое, строить национальные идентичности возвращается с удвоенной силой, то какую роль отвести гуманитарным наукам, чтобы они дали руководство в этом лабиринте понятий, конфликтов и политических эмоций?

Вклад в эту тему, который я сделала в своей последней книге, заключался в том, что я провела различие между «гражданским» и «военным» национальным государством. Я считаю, что «гражданское» национальное государство было очень важной и поздней исторической инновацией, которая появилась вместе с Европейским союзом. Этот союз возник как экономическая ассоциация, предназначенная обеспечить богатство и благосостояние, но также определявшая себя по ряду нормативных принципов, таких как преобразование диктатур в конституционные демократии, учреждение новых международных законов, создание институтов просвещения публики о жестокостях прошлого, поддержка прав человека и превознесение культурного разнообразия. В отношении ЕС интересно то, что он есть нечто большее, нежели сумма его государств-членов. Подлинная ценность и историческое новаторство этой ассоциации заключается в том, что она осуществляет контроль над своими государствами-членами, отказавшимися от суверенитета, чтобы иметь возможность действовать вместе на основе общих принципов. В своей книге я резюмировала эти принципы как «европейскую мечту». К их числу относятся уважение к людям независимо от их происхождения, правовая система, которая поддерживает безвластных и сдерживает злоупотребление властью, а также ответственность за то, чтобы сосуществовать поверх границ национальных государств в условиях устойчивого взаимного мира.

Эта мечта о «европейской мечте» обнаружила свои изъяны после 2000 года, когда восточноевропейские государства стали переоткрывать свою историю и национальные идентичности, что увеличило значение этнического принципа членства, который привел к исключению других [этносов], стал угрожать им и поставил под угрозу взаимное признание и социальный мир в обществе. В своей инаугурационной речи после победы на выборах в 2019 году президент Владимир Зеленский назвал «европейскую мечту» видением, объединяющим его страну, и пообещал вести украинцев в этом направлении, на Запад. Никто тогда не представлял, как спустя три года эти слова станут правдой в ситуации такой боли и травматического давления. <...>

**Михаил Ямпольский:** Я являюсь убежденным сторонником междисциплинарности, так как не вижу перспектив на обновление внутри дисциплин. Есть вещи, которые мне кажутся нужными и перспективными, например более последовательное применение генетического взгляда, прослеживающего всякое явление в его зарождении и генезисе. Этот подход может помочь отойти от анализа структур и систем как некой данности, пригодной для определенного метода. Именно поэтому, взяв такое структурное и статическое понятие, как *форма*, я пытаюсь последнее время подойти к нему как к результату безостановочного становления и разложения, не позволяющих прийти к стабилизации смыслов.

В последнее время меня в определенной степени занимает возрождающийся интерес к риторике. Интерес этот постоянно возникает и угасает, по счастью не превращаясь в доминирующий тренд. Риторика мне кажется интересным замещением семиотики, так как сосредотачивается на фигурах переноса и сочетания несочетаемого и разнородного. В каком-то смысле всякая культура основана на риторике, так как позволяет соединение того, что логически или семиотически несовместимо. Культура, в конце концов, — это клубок, глубоко противоречащий всякой формальной логике. Особенно любопытны, на мой взгляд, попытки создать инструментарий риторической антропологии.

**Считаете ли Вы, что события последних месяцев могут повлиять на институциональное положение Вашей дисциплины, ее академический статус и работающих в ней исследователей? Если да, то какие изменения кажутся Вам перспективными? Возможно ли появление принципиально новых образовательных и исследовательских институтов, включая неформальные?**

**Сергей Зенкин:** ...моя дисциплина — не русистика, а компаративистика и теория, их статус в мире вряд ли изменится. Не думаю даже, что снизится интерес историков к «русской теории» XX века, к ее деятелям и концепциям: ученые — прагматичные люди, они не станут «отменять» работающие идеи из-за того, что их придумали сто лет назад во враждебной сегодня стране. Осложняется, конечно, текущее и особенно институциональное сотрудничество с иностранными коллегами, но так во всех дисциплинах, ничего специфического здесь нет. Неформальные институты могут чем-то помочь делу; они возникали и до 24 февраля, и будут еще возникать, в некоторых я сам участвую, например в Свободном университете.

**Сергей Ушакин:** Мне кажется, что такие изменения зависят не только от дисциплины, но и институциональных ресурсов. Расширение тематического спектра требует новых исследований (и исследователей), ставок и т.п. академической бухгалтерии. Изменение этих условий — дело долгое. Российско-украинские события, конечно, повлияют на тематику курсов и диссертаций, но я пока не вижу, как будет меняться институциональная структура антропологии в этом плане. Скажем, война в Афганистане, Ираке и Сирии мало что изменила в этом отношении. Движение «Black Lives Matter» в значительной степени изменило атмосферу в американских кампусах, резко повысив нетер-

пимость к любым проявлениям расизма, но институциональных изменений пока было очень мало.

**Александр Семенов:** Отсутствие открытого горизонта будущего и социальной дискуссии о возможном воображении будущего сделало историю идеологическим знаменем официального российского политического курса. Когда грохочут пушки, музы молчат. Но проблема еще и в другом: введение политической цензуры и появление самоцензуры приведет к возвышению вполне себе сохраняющейся советской практики узкого толкования ремесла историка. Эта практика заключается в преобладающем эмпиризме, стремлении свести логику исторического исследования к источниковедению и уходе от сложных вопросов исторической интерпретации и аналитического языка для описания прошлого. С этой привилегированной точки современности мы можем теперь увидеть, что часто ругаемые 1990-е годы были весьма продуктивным временем теоретической рефлексии и творческого переосмысления дисциплинарной идентичности истории. Речь должна будет идти не о консервативном сохранении наследия, но о его сохранении и творческой переработке.

**Николай Плотников:** Военные действия России в Украине ознаменовали распад глобального академического пространства и приостановку многочисленных научных и образовательных связей, благодаря которым функционировала международная академия, интегральной частью которой была Россия. Приостановление институционального сотрудничества с Россией во всех дисциплинах ведет в случае гуманитарных наук к полной изоляции российского научного сообщества от глобального научного развития. Ученые еще могут продолжать контакты как частные лица, но научное сотрудничество на базе академических институций становится невозможным. Для исследований интеллектуальной истории это означает не только ограничение научного общения с коллегами, но также и затруднение доступа к архивам, к библиотекам и текущим научным публикациям в глобальном масштабе. Сокращаются возможности публикации научных результатов как в России, так и за ее пределами.

Все эти тенденции вряд ли можно назвать перспективными для развития гуманитарных дисциплин. Вместе с тем разрушение форм научной коммуникации, сложившихся за последнее тридцатилетие, может привести к отчасти вынужденной, отчасти сознательной перефокусировке исследований от «русцентричности» на выявление плюрализма интеллектуальных центров — Одессы, Варшавы, Вильнюса и др., которые перестанут восприниматься как «периферия империи», а станут новыми отправными точками, из которых могут быть развернуты новые попытки картографирования интеллектуального пространства Восточной Европы.

Это касается не только предмета исследований интеллектуальной истории, но и перефокусировки всей их институциональной инфраструктуры, включая усиление и расширение научного сотрудничества с восточноевропейскими академическими центрами, университетами, архивами и проч. Данный процесс приведет с большой вероятностью к возникновению новых образовательных и исследовательских институций, которые дадут новый импульс к развитию и большей консолидации центрально- и восточноевропейского академического пространства, раздиравшегося прежде соперничающими национально-государственными проектами.

**Катриона Келли:** В англоязычном мире уже очевидны два результата этих трагических событий. Первый — это радикальный рост интереса к культурам помимо российской среди академиков, работающих в области исследований России и Восточной Европы. Другой — возрождение внимания к истории России и СССР как империй. Политическая, общественная и культурная история, изучающая имперское наследие, существует не первый год, о чем свидетельствуют как отдельные исследования, так и коллективные инициативы, такие как «Ab Imperio» и некоторые серии, публикуемые НЛО. Но как недавно доказывал антрополог Сергей Абашин, исследования империи не имеют того резонанса и институционального влияния, которого заслуживают.

Обе эти тенденции — растущее внимание к не-российским культурам и к связи между российской культурой и империей — вне всяких сомнений позитивны. Отличные исследования, не касающиеся напрямую России, начинают получать должное внимание. В дополнение к этому наше понимание самой российской культуры обогащается, когда мы смотрим на нее с постколониальных позиций. Некоторые ранние образцы могли бы дать повод к уголовному преследованию, но это неизбежно (вспомните о ранней феминистской литературной критике, такой как вышедшая в 1968 году книга Мэри Эллман «Думать о женщинах» («Thinking About Women»)). А некоторые из тех, кто громче всех заявляет, что в растущем внимании к имперскому контексту выражается «отмена» российской культуры, сами делают больше всех для ее «отмены», кривыми путями продвигая в качестве манифестов «национальной идеи» и легитимации агрессии софистицированные и двусмысленные тексты. Так или иначе, имперское влияние определенно вошло в повестку. В том, что касается институционального стимулирования этой дискуссии, многое можно быстро сделать неформальными средствами, с помощью авторских колонок, подкастов и онлайн-дискуссий (что уже и происходит). Но такие журналы, как «НЛО», играют решающую роль в публикации более основательных материалов, за которыми стоит более длительная рефлексия. Можно лишь надеяться, что слово «влияние», используемое в поправках к закону об иностранных агентах и допускающее разные толкования, не станет непреодолимым препятствием для плодотворного международного диалога, который начался в конце 1980-х годов и в который само НЛО сделало такой значительный вклад.

**Елена Чхаидзе:** События последних месяцев уже повлияли на ощущения, с которыми ты преподаешь русский язык или русскую литературу. Они могут повлиять и на статус, и на исследователей. Конечно, пока не напрямую, из управления университетов, а косвенно. Но явно уже то, что программы по обмену студентами (Германия — Россия) закрыты. О появлении неформальных институтов сложно сказать. На мой взгляд, если говорить о России, то новые не появятся. Мы находимся на переломе эпох, который пока не дает возможности определить перспективу. Прошло только несколько месяцев. Более-менее все станет проясняться, может быть, через год.

**Ханс Ульрих Гумбрехт:** ...я не думаю, что академические дисциплины, которые мы называем «гуманитарными», обязаны, да и вообще способны быстро реагировать на изменения политической обстановки. Честно говоря, я задаюсь вопросом о том, могу ли вообще в качестве профессора-эмерита «сравнитель-

ного литературоведения» претендовать на то, что обладаю точкой зрения или знаниями, которые делали бы мои суждения о текущих событиях и их предыстории более вескими, чем, скажем, суждения коллег с медицинского факультета или любого гражданина моей страны. Разумеется, я могу и даже обязан реагировать на такие важные политические события как гражданин, то есть лицо, чувствительное к вопросам политики, — но не как бывший преподаватель и исследователь в области «сравнительного литературоведения» (по крайней мере, никаких специфических прав или обязанностей этот мой статус не создает). Что касается возможности изобретения и создания новых институциональных сред для преподавания и (производительного) мышления, порой я боюсь, что история «западного университета» в той форме, которая берет начало от эпохи Просвещения и от движения просветителей, подошла к концу. «Передача профессионального знания», которая в настоящее время чаще всего преподносится как цель и функция существующих университетов, — это точно не то, что имел в виду, к примеру, Вильгельм фон Гумбольдт, когда формулировал свои нормативные и получившие позднее большое влияние идеи по поводу призвания университета как институции.

Хотя меня бы и расстроило, если бы традиционный университет исчез (я ничуть не жалею, что он был моим интеллектуальным домом), я вполне могу вообразить, что будут изобретены другие учебные среды — возможно, меньшие по масштабам и более персональные, чем сегодняшние гигантские (в историческом сравнении) академические институции. В конце концов, похоже, что вопреки ожиданиям сегодня имеется спрос на тип мышления, культивируемый гуманитарными науками, и этот спрос вполне может вылиться в активную трансформацию, а возможно и замещение, университетов, какими мы их знаем.

**Эллен Рутген:** По постам в соцсетях я вижу, что разговоры об этих вопросах сейчас в полном разгаре. Рано предугадать, чем они закончатся, — но наблюдаю с интересом и отношусь с симпатией к тем, кто переживает.

В любом случае мне кажется, что сейчас нужен новый университет, в котором примерно половина позиций будет отведена для тех многочисленных исследователей, художников, писателей, философов и студентов, чья жизнь, достаток или свобода сейчас находятся под угрозой. Их, увы, так много, что существующих программ не хватает: понадобится новое учреждение. Именно это убеждение побудило меня и семерых коллег уделять большую часть своего времени работе над Университетом новой Европы (University of New Europe; <https://neweurope.university>). В этой инициативе участвуют коллеги из Украины, России и других европейских стран. В Университете новой Европы 50—60% позиций будут выделены студентам и исследователям из иллиберальных обществ, а его программа будет ответом на те геополитические и экологические кризисы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в Европе.

Новый университет — *sine qua non* в сегодняшней Европе. Но я хочу упомянуть и другую концептуально и институционально важную трансформацию, которую сейчас трудно *не* наблюдать. Я имею в виду разговор о деколонизации славистики, который сейчас ведется, мне кажется, на всех себя уважающих кафедрах нашей дисциплины. На меня, так же как и на многих коллег, большое впечатление произвела программная лекция украинского историка и писательницы Олеси Хромейчук в апреле этого года на британской славистской

конференции BASEES. «Где находится Украина на ментальной карте академического сообщества?» — спросила Хромейчук в сугубо личной и порой надрывной речи, в которой она критиковала обыкновение славистов затушевывать нерусские корни знаменитых «русских» художников и писателей (почему мы называем отчасти польского и выросшего в Украине художника Малевича «русским авангардистом», например?). Хромейчук также порицала тенденцию превращать Россию в ориентир для учебных программ, заявок на гранты и других инициатив, связанных со славянскими языками и культурами. Попытки решить эту проблему я вижу у коллег по собственной учебной программе — когда, например, они организуют новые курсы, вносят дополнения в учебные планы или устраивают публичные встречи, в которых более мощно звучат украинские или, скажем, белорусские голоса.

Такие же попытки мы предпринимаем в редколлегии журнала «Russian Literature», главным редактором которого я являюсь. Начиная с февраля у нас в редакции резко усилились уже существующие тревоги по поводу того, что мы анализируем белорусскую, украинскую, боснийскую и другие славянские литературы меньше, чем хотели бы. В недавней редакторской колонке я поделила с читателями чаяние чаще публиковать размышления о разных славянских литературах и языках.

Это всего лишь примеры первых, ценных, но очень еще несовершенных попыток пере придумать дисциплину. Какие интервенции понадобятся в долгосрочной перспективе — пока говорить рано. Но в том, что сейчас выстраивается новый баланс учебных и исследовательских материалов, — где вклад российских материалов падает за счет нероссийских, — у меня мало сомнений.

**Кевин Платт:** Здесь я ограничусь в своих комментариях теми институциональными распорядками и областями исследований, которые касаются отдельных регионов. Обычно эти мультидисциплинарные формации включают не только гуманитарные дисциплины, но и социальные науки, и называются по-разному: «русские и восточноевропейские исследования», «русские, восточноевропейские и азиатские исследования», «славистические исследования», «постсоциалистические исследования» и т.д. Скажу прямо: облик этого поля всегда отражал имперские структуры власти в регионе, которому оно посвящено. В США, чью ситуацию я знаю лучше всего, всегда преобладали курсы, факультеты и исследования, сосредоточенные на русском языке, литературе, культуре и истории, а в рамках исследований России (Russian studies) приоритет имели канонические тексты и проблемы, тогда как все остальные языки, литературы, культуры и истории подвергались маргинализации, игнорировались или рассматривались только лишь в связи с гегемонной и господствующей метрополией.

Не буду углубляться в исторические обстоятельства, которые на протяжении XX века вели к такому результату. Тем не менее необходимо заметить, что ввиду той лавинообразной деколонизации, которую регион де-факто претерпел за последние тридцать лет (как мы видим сейчас, этот процесс далек от завершения), можно было ожидать, что институциональная и академическая жизнь тоже начнет перестраиваться на иных принципах, соответствующих распаду империи и деколонизации народов. На деле же было сделано очень мало. Лишь в начале нового тысячелетия исследователи стали применять к региону постколониальную и деколониальную оптику, а более-менее масштаб-

ной и последовательной эта практика стала в 2010-х годах (в том числе благодаря усилиям НЛО) — тем не менее, несмотря на недавнюю публикацию важных и прорывных исследований, она так и не заняла центрального места в методологическом репертуаре. Программы учебных курсов, институциональные структуры и сам по себе академический дискурс по-прежнему в огромной степени заиклены на источниках и проблемах, порожденных российской метрополией. Исследованиям России уделяется до неприличия больше внимания, чем любому другому языку, культуре или традиции. Путь к исправлению этой ситуации очевиден: нужна радикальная перемена в организации академической жизни наших полей. Скорее всего, чтобы осуществить ее, понадобится целое поколение исследователей, которые по-настоящему деколонизируют как институты, так и научный дискурс.

**Марк Липовецкий:** Нынешняя историческая катастрофа (а мы имеем дело именно с ней) действительно обнажила то, что давно требовало ревизии. Русская культура, разумеется, не должна замещать собой богатый и разнообразный мир славянских культур, а должна пониматься как *одна из них*. Это, конечно, институциональная проблема, касающаяся преподавания и обучения специалистов. Деколонизация русистики, о которой много говорят наши коллеги сегодня, действительно необходима, но она не должна стать самоцелью, а хуже того, элементом научного этикета. Я глубоко убежден, что не столько социальные теории, сколько гуманитарные исследования, в которых русский материал изучался бы в постоянном сопоставлении с материалом культур, находившихся в сфере имперского влияния России, может привести к новым теоретическим поворотам и парадигмам. Введение в наши исследования украинской, белорусской или польской перспектив способно сыграть острающую роль и обнажить культурные механизмы, остающиеся незаметными внутри русской культуры. На этом пути, само собой, неизбежна реконфигурация гуманитарного поля, а потребность в новых институтах назрела давно и, возможно, нынешняя ситуация тут сыграет роль катализатора.

**Евгений Добренко:** Чем скорее все мы поймем, что мир после 24 февраля 2022 года изменился радикально и необратимо, тем лучше. Причем речь идет именно об институциональных изменениях — разрушены институциональные связи, обмены, контакты и совместные проекты... Связь с российскими институтами сделалась невозможной. После письма российских ректоров стало невозможным сотрудничество с вузами. Конечно, что-то, хотя и далеко не все, возможно на персональном уровне, но институциональное положение дисциплины на Западе изменилось полностью. Не нужно обманывать себя: Россия превратилась (сама превратила себя!) в главного врага Запада и будет теперь позиционироваться в этом качестве. Ничего нового тут нет: русистика была рождена на Западе как наука о враге и в таком качестве просуществовала полвека холодной войны, поэтому возврат к этому ее статусу многими воспринимается как возвращение к извечному порядку вещей. Конечно, многими он будет воспринят драматично, поскольку за тридцать лет пришло целое поколение русистов, привыкших к нормальному статусу своей дисциплины. И для них (нас) эти изменения ничего «перспективного» не несут. Они несут статус дисциплины-изгоя о стране-изгое.

**Риккардо Николози:** Для развития немецкой славистики в последние тридцать лет была характерна растущая интернационализация. В области русистики, о которой здесь следует сказать, после падения Советского Союза открылась такая нужная возможность сотрудничества с российскими учеными, чему способствовали основание, либо реформа университетов, исследовательских центров и издательств. Обмен шел в обоих направлениях, исследователи обоюдно влияли друг на друга и практиковали диалог, через который вместе росли. В этом диалоге принимали участие коллеги из славистических институтов других стран, сотрудничество русистов со всего мира было значительно и для всех плодотворно. Я использую здесь прошедшее время, потому что после 24 февраля 2022 года все изменилось. Совместная работа с российскими образовательными и исследовательскими институциями стала невозможной, и в обозримом времени здесь ничего не изменится. Сегодня приходится ставить вопрос о том, возможна ли немецкая славистика без кооперации с Россией. Ответ: да, разумеется, она возможна, потому что, как было объяснено выше, славистика в Германии — это далеко не только русистка. Это может удивить русистов по всему миру, потому что они не ведают этого разнообразия своих институций, а также потому что они никогда по-настоящему не интересовались тем, что происходит в славистике за пределами русистики. Вполне возможно (и желательно), что прочие славянские культуры выйдут из этой ситуации, сделавшись сильнее.

Сегодняшняя ситуация тяжела и для самой немецкой русистики. Проблемы нельзя игнорировать, соответственно нельзя и надеяться, что скоро все станет как раньше, потому что оправданной надежды на это нет. Тяжела не столько даже ситуация в немецких университетах, где в текущем положении запрос на предметное знание русской культуры отчасти даже вырос. Ситуация тяжела по причине разрыва связей с Россией. Поэтому встает вопрос о том, возможна ли зарубежная русистика практически без контактов с Россией. Тем, чьи исследования требуют доступа к архивам и библиотекам в России, утрату этой возможности едва ли можно чем-то компенсировать. Менее серьезны проблемы тех, кто, как я, не работает с архивными материалами. Тем не менее встает вопрос о том, что это будет значить, если регулярный обмен с российскими коллегами станет в известной степени невозможен. Следует опасаться, что мы получим новый раскол на внутреннюю и зарубежную русистику, который будет обусловлен не только технологиями коммуникации, но и институциональной идеологией. Волна эмиграции из России и политически управляемая, идеологическая реполитизация российского гуманитарного знания могут привести к тому, что в ближайшем будущем язык науки изменится. В конечном итоге это несет двойную угрозу: с одной стороны, российская русистика рискует лишиться международного доступа, а с другой — исследования России могут подвергнуться колонизации зарубежной русистикой. Там самым мы окажемся в ситуации, напоминающей холодную войну, а радостные тенденции последних тридцати лет, поставившие на повестку глобализацию русистики, моментально обратятся вспять. Текущее положение вещей таково, что это будет лишь малая и по существу незначительная часть намного большей трагедии.

**Алейда Ассман:** Мы подошли к очередному переломному моменту, когда за будущее борются два мировоззрения и две политические системы, противостоящие друг другу. В этой ситуации важная роль гуманитарных наук —

информировать и просвещать людей о происходящем, наделять их способностью понимать конфликт в его более широкой исторической и культурной перспективе. Прочитав письмо украинской беженки в Германии, которая обратилась за советом в том, как ей реорганизовать учебу: «Я не практикующий исследователь, но уже несколько лет ищу возможность продолжить образование и обучение в области, в которой их начинала. Я хочу заниматься исследованиями памяти. Я считаю, что это очень важная и актуальная область исследований для Украины, особенно сегодня. Эта область почти никогда не исследуется должным образом, и Украине предстоит найти свой способ работы с памятью о событиях советского прошлого, о советских репрессиях, о событиях, начавшихся в 2014 году, и о событиях 2022 года».

**Допускаете ли Вы возможность радикальной реконфигурации сложившихся дисциплин и всего гуманитарного поля в связи с усиливающимся в последние годы процессом культурной «деколонизации» в мировом академическом сообществе?**

**Сергей Зенкин:** Не берусь судить о мировых процессах, но Советский Союз и постсоветскую Россию, конечно, следует изучать как империю, на сегодня вполне зловредную. Я только не уверен, что к ней точно применим термин «колониальная»: многие из ее этнически специфичных частей было бы лучше называть не «колониями» в новоевропейском смысле слова, а «провинциями», какие существовали, например, еще в Римской империи. К тому же эта империя, страдая всемирной отзывчивостью, все время ревниво оглядывалась на «Запад», опасалась и одновременно желала культурной (ну или хотя бы научно-технической) колонизации с его стороны. В наши дни эти национальные комплексы отражаются, помимо прочего, в ходе научного обмена: российские ученые могут свысока глядеть на коллег из соседних стран, но при этом сами нередко жалуются на колониальную эксплуатацию со стороны западных славистов, которые-де выделяют им только роль «провинциальной», эмпирической науки, собирающей сырой материал для изучения в мировых столицах. Сегодня, когда Россия вся в целом выглядит в глазах мира как воспалившийся сырьевой придаток, этот соблазн resentmentа рискует усилиться.

**Сергей Ушакин:** Радикальная реконфигурация поля гуманитарных дисциплин требует как наличия людей, способных совершить эту радикальную реконфигурацию, так и идей, на основе которых эта реконфигурация может произойти. Деколонизация знания — это не только процесс (политического) устранения имперского господства, но прежде всего формирование альтернативной исследовательской повестки и методов изучения. В этом плане противоречивая история антиколониального движения 1950—1960-х годов, с его тягой к определенному универсализму (панафриканизм, теория негритюда) и заурядному национализму, скорее говорит об обратном: быстрых деколонизаций не бывает. Поскольку главная-то задача, как мне кажется, не в том, чтобы переписать прошлое, а в том, чтобы формировать будущее, не похожее на вчера.

**Александр Семенов:** Это отдельный и интересный сюжет. Растущие усложнение и гибридизация всех современных обществ остро ставят вопрос об аутентичности и собственности на исторически сформированные коллективные идентичности. Растущая взаимосвязанность мира также ставит вопрос о долгоиграющем историческом наследии имперских формаций и колониализма. Историческая деколонизация (начиная с имперских трансформаций после Первой мировой войны, включая 1917 год) в смысле образа будущего являлась глубокой национализацией политических структур и форм социальной организации. Вопросы деколонизации, как они поставлены сейчас, показывают нам тупиковость деколонизации в смысле перехода от империи к нации. Оказывается, что история не останавливается и изнутри сложившейся гегемонии национальной рамки прорываются стремления к различности самых разных жанров и регистров.

Но может быть, мы находимся в плену ближней перспективы? Разве появление женской и гендерной истории не воспринималось как радикальная ломка сложившейся логики академической жизни и производства знания? Я очень хорошо помню наши дискуссии в Казани в начале 2000-х годов, когда попытка поставить вопрос о месте и субъектности женщин в истории России встречала неумолимый ответ — нет соответствующих источников. А потом источники нашлись. Источники всегда найдутся, но они молчат без вопрошания историка, работает ли он в рамках гендерной истории или в рамках деколонизального поворота.

**Николай Плотников:** Вследствие внешней политики России и ее открыто колониального характера, следует почти с неизбежностью ожидать усиления в глобальном масштабе «деколонизации» в исследованиях российской интеллектуальной истории, которая будет связана как с более жесткой критикой идейных проектов русского национализма и его исторических гешталтов, так и с увеличением интереса к авторам и концепциям, утверждавшим антиавторитарные и антиколониальные идеи в контексте российской интеллектуальной истории.

**Катриона Келли:** Однозначно да. Такая радикальная реконфигурация необходима, чтобы адекватно понять прошлое и настоящее. И под «деколонизацией» я бы понимала внимание не просто к истории разных этнических групп, но и ко всему спектру групп, которые с точки зрения основного течения культуры были «иными»: к женщинам, детям и молодежи (да и к старикам), сексуальным и религиозным меньшинствам, к тем, о ком забыла неolibеральная политика, например обездоленным региональным сообществам.

**Елена Чхаидзе:** Термин «деколонизация» применительно к постсоветскому пространству относителен, и его надо уточнять, объясняя разницу его употребления по отношению к европейским империям и к СССР. Теоретическая «деколонизация» постсоветского пространства в западных исследованиях продолжится, но в российском научном поле будет в силе советский образец — «Снова изобретем автомат Калашникова!»

**Ханс Ульрих Гумбрехт:** Если «деколонизация» подразумевает, что гуманитарные науки сосредоточат внимание на культурах, которые они до сих пор

игнорировали, столкнутся с незападными способами мышления и сами станут активно к ним прибегать, то я целиком и полностью за такую реконфигурацию. Опасность я вижу в том, что сегодня стали называть «политической корректностью», то есть в подходе, отталкиваемом от того, что представляется политически и этически несомненным, когда производство духовной сложности и постановка новых вопросов зачастую подменяются переутверждением и повторением собственных позиций. В принципе, «деколонизация» в хорошем смысле может рассматриваться как продолжение того, что я считаю лучшей традицией и лучшим наследием гуманитарных наук (а возможно, и всей западной академической жизни), а именно такого подхода, когда развитие мысли и постановка проблем осуществляется без заранее намеченного результата. Это вылилось бы не просто в создание новых дисциплин, например «исследований Африки» или «музыки Океании». Подлинный вызов заключается в том, чтобы быть открытыми для разных стилей мышления, дискуссии и письма. Когда я думаю о потенциале, который несут в себе подобные перемены, то жалею, что преклонный возраст вряд ли позволит мне лицезреть их результаты.

**Эллен Рутген:** О подобной возможности хотелось бы подумать подольше — тем более что постановка вопроса довольно широкая: мне трудно говорить за все гуманитарные науки сразу. Но сам вопрос кажется мне верным и важным.

**Кевин Платт:** Очевидно, что текущий кризис требует неотложного внимания к беде украинцев, которые столкнулись с попытками другого государства отрицать, что они вообще обладают независимой политической, национальной, культурной и языковой идентичностью. Российское государство занимается (ре)колонизацией. Мы, как ученые, должны противостоять этому, используя научные инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Но деколонизация наших дисциплин должна произойти на всех уровнях, а не только в том, что касается различия между русским и нерусским, которое в центре нашего внимания сегодня. В ближайшие десятилетия мы должны не просто со всей многозначительностью переместить фокус нашего внимания с имперского центра на народы, которые прежде были колонизированы, но и выявить имперский след, который воспроизводится по всему региону, внутри и вовне каждого государства, нации или культурной формации. В данном регионе, как и в любом другом, много сообществ, народов и языков, чьи идентичности не соотносятся ни с каким государством, а их политическая или институциональная власть минимальна или вовсе отсутствует. Идентичности и сообщества рассеяны по ландшафту [этого региона] неравномерно. Сами по себе языки и культуры, включая русский язык и русскую идентичность, множественны, фрагментированны и взаимопроникающи, а отнюдь не монолитны, обособлены и неделимы. Поэтому задача деколонизации наших дисциплин состоит не в том, чтобы попросту нарезать карту на новые образования и каноны, которые соответствовали бы политическим реалиям наших дней, но в том, чтобы со всей тщательностью отследить то, как политическая власть отражается на нашей жизни и научных институциях, на любых масштабах и во всех географических регионах, поставить ее под вопрос и найти ей противовес.

**Евгений Добренко:** Нет. Во-первых, потому, что за разговорами о «деколонизации» вижу немало политкорректной компанейщины, которая, как и

всякая компанейщина, пройдет, не оставив глубокого следа, кроме терминологического: русофонных авторов перестанут называть «русскими», а тех из них, кто родился вне России, станут называть «русским писателем украинского (или иного) происхождения». Нового здесь ничего нет. Все это давно уже произошло, например, в романистике, где есть целые области, занимающиеся франкофонной (francophone) литературой Африки или португалоязычной (lusophone) литературой Латинской Америки и т.д. Не думаю, что это что-то радикально изменит в нашем понимании литературы, в том числе и национальной литературы. Во-вторых, нельзя не видеть нарастающего противоположного тренда, направленного на подчеркивание национальной специфичности в противовес мультикультурности, которая, по крайней мере в политической сфере, стала чуть ли не бранным словом. Все это заложено в самой природе политики идентичности (politics of identity), которая, с одной стороны, является продуктом того же дискурса, что питает «деколониацию», а с другой — пестует дискурсы разъединения, когда безбрежный глобализм разбивается о множество волнорезов идентичностей национальных, этнических, религиозных, гендерных, возрастных, профессиональных и т.д. меньшинств. Все они производят целые субдисциплины со своими теориями и историями, которые часто оказываются совершенно непереводаемыми и неприложимыми в смежных дисциплинах, а во многих случаях и академически непригодными и бесплодными, поскольку являются просто сублимированными формами политического активизма.

**Алейда Ассман:** Для меня деколонизация духа — насущный вопрос, дающий глобальный импульс всем нациям и культурам, потому что от этого зависит выживание человечества. Западная культура должна проработать свое колониальное прошлое и признать ту аборигенную травму, которая тесно связана с западной триумфальной историей открытий, расширения, прогресса и богатства. Этот знакомый набор ключевых слов следует пересобрать, чтобы он впитал и вобрал элементы насилия и власти, жестокости и жадности, силы и равнодушия. Сегодня понятие о выживании требует пересоздать понятие «человечества», чтобы оно могло превратить людей в коллективную действующую силу с волей к сотрудничеству, к созданию основы для сосуществования в условиях устойчивого мира и к объединению усилий для того, чтобы обеспечить светлое будущее человечества, планеты и последующих поколений. Здесь огромная ответственность лежит не только на науке и технике, но и на гуманитарных науках, потому что их обязанность — держать зеркало перед людьми с их историей, помогая им критически смотреть на свои ценности, цели и на свой собственный образ в транснациональной и мировой перспективе.

**Михаил Ямпольский:** Что касается деколонизации, то тут, на мой взгляд, следует различать два аспекта. Первый, связанный с дисциплинарной «деколониацией», скорее всего приведет к глупым и догматическим результатам вроде попыток маргинализации богатых и «доминантных» «имперских» культур. Второй аспект — это закономерное крушение классических филологических дисциплин — русистики, англистики, французистики и германистики — то есть тех дисциплин, которые занимались выработкой культурных канонов и *нормализацией* национальных культур начиная с эпохи складывания наций и империй. Я думаю, что сегодня исчезла основа легитимизации таких дис-

циплин и они постепенно войдут в иной дисциплинарный комплекс, не связанный с языками и государственностью. Такая «деколонизация» мне скорее симпатична.

Что касается событий последних месяцев, то я думаю, что на какое-то время в западных университетах они смогут привести к конъюнктурному росту «украинистики», хотя такая дисциплина и кажется мне изначально устаревшей. Мне представляется, что речь не должна идти о хотя бы частичном вытеснении архаической русистики в чем-то похожей на нее украинстикой, а о создании какого-то совершенно иного и более адекватного комплекса знаний.